

## "Revisor"

Легкость в мыслях опять была необыкновенная, в ушах звенело, по телу то и дело перекатывались тревожные мурашки. Это его одновременно и пугало, и радовало. Хорошо, конечно, что опять все ему было подвластно, а куда это его могло завести, он хорошо знал. Но камень уже катился с горы, и его было не остановить.

"Ну что, брат Пушкин?" — сказал он себе и приободрился. Тут, как всегда, надо было держать ухо востро, пока другие не захватили главные стратегические высоты. Не то замешкаешься и проходишь до конца дня в каких-то Карамзиных. И так каждый день. И держали евреи оборону от посягательств на их великих классиков, и не давали их никому в обиду. Только один раз случился у них прокол с "нашим всем" — прорвали немцы глухую оборону и прилепили к водке столь дорогое имя.

Было ровно 7 часов 30 минут. Еще бы пять минут — и ходить ему сегодня в Достоевских, а там по убывающей — Толстой, Чехов... Вчера же ему достался только Есенин, так как проснулся он в одиннадцать после гульбы накануне. Сегодня он успел.

"Неплохо", — возликовал Иосиф. Все в нем играло и пенилось. Как же — летящий профиль, нежные завитки смоляных волос, бурный норов и вулканические страсти. Напевая, ринулся он к зеркалу и помрачнел. Там опять отражался этот старый мудака с голубыми глазами и с корявыми завитками жестких седых еврейских волос.

"Ну, нет... — перечеркнул он мысленно увиденное. — Ничего, ничего... Все вы там высокие, модные... Посмотрели бы вы, что у меня внутри творится".

И чтобы лишний раз удостовериться, он заглянул. Там, в высоком храме искусства с коринфскими колоннами, уходящими ввысь, царил высокий штиль. Он увидел себя в белоснежной тоге, в сандалиях с крылышками, пересекающего столбы света.

— Куда в такую рань? — раздался трубный глас. Он стукнулся о колонну и выпал в переднюю. Там опять была "она" и ничего иного.

— Да, так... — уклончиво ответил Иосиф и начал собираться.

Собственно, идти-то ему было совершенно некуда, но тут все было за последние тридцать лет отработано до мелочей, и он знал, что задержись чуть дольше — конфликта не миновать.

— Опять эти джинсы, эта куртка... — привычно "пела" жена. Почему не надеть пальто, туфли, а не кеды?

— Утром, за хлебом? — взвился он.

— Я не позволяю себе распускаться, — дожимала она. — Чем ты отличаешься от негров на нашем квартале?

"Вот, вот... Недалека от истины", — подумал Иосиф, так как летящий профиль первого поэта уже опять звал к чему-то великому и прекрасному. Теперь надо было не растерять это ощущение, прорваться любой ценой.

Надевая это постылое длинное пальто, меняя кеды на туфли, он пропускать мимо ушей призывы к уборке, к мытью окон и Terrich'a, к размену квартиры и континента. Тут дело решали секунды, и он со словами: "О ужас, то была Наина", — выскочил из квартиры.

Уже на улице Иосиф отряхнулся и, мысленно поигрывая тростью, планировал к перекрестку. "Наши" уже были в городе. Одни с напряженными лицами перебегали на красный свет, другие стояли понуро со своими каталками в робкой надежде на скорое избавление. Дальше они тащили свое тело в турецкую лавку, затем в магазин, сравнивали и опять возвращались в лавку. Но наш Иосиф только промелькнул мимо и потек себе дальше в путь по народной тропе. Навстречу ему попадались другие корифеи, ведущие толпы неофитов и прокладывающие свои тропы к "войне и миру", "преступлению и наказанию" и к "хуторам, что близ гемайнды". Пути их не пересекались.

А улицы уже были заполнены служивым людом. Они спешили к своим конторам, банкам, непостижимым делам, и всё мимо. А он был в пальто не для того, а он погиб не для того у Черной речки... "Послушайте... Если бы вы знали, какие колонны там... у меня, какие закаты и восходы, а та любовь на первом курсе. А моя библиотека, что осталась там, а треп за рюмкой... Для чего-то это было? Идут себе. А от Москвы до Владика надо было ехать полмесяца поездом, а наша рыба, а помидоры... — бросался он то к одному, то к другому. — Вот он я! Идут! Да вы знаете, что чернозем на Украине в метр глубиной, а у меня там тоже была собака... и жизнь".

Он выпал из общего потока и двинул тихими улочками Altstadt'a. Была среда. Был Рейн, а над ним телевизионная башня, были ровные шеренги платанов на набережной, которые посадили уже при его жизни. Город хорошел и менялся у него на глазах. За эти восемь лет выросли новые дома, появились шикарные торговые центры, а этот как валялся все эти годы расчлененным у самой оживленной трассы, так и продолжал, вызывая у Иосифа недоумение и злость. Но сегодня уже поэт пришел к поэту.

— Ну что, брат Гейне? — мысленно спросил "брат Пушкин". — Удалили тебя?

Этот памятник вызывал горячие споры меж интеллигентов-контингентов. Одни видели в этих монументальных кусках великого немецкого поэта, разбросанных по милой дужайке, проявление яркого антисемитизма, другие — модернистские изыски. А брат Гейне гордо воротил свой нос и косил глазом, в углу которого сверкала предательская капля.

— Вот ты и выдал себя, — вздохнул "брат Пушкин" и прислушался. Где-то рядом раздавались какие-то ритмические подвывания и легкий треск аплодисментов. И он пошел им навстречу. Через два квартала подвывание перешло в громкое стенание. Большая стеклянная дверь распахнулась перед ним и впустила его. Здесь было то самое, которое издавало эти звуки.

В большой комнате за рядами столов восседали поэты и прозаики — его соплеменники, которые издавали здесь не только завывания, но и книги.

— О чем это вы, — ужаснулся "брат Пушкин", — когда там поэт пропадает?

И все почтенное собрание бросилось за ним вслед. На месте преступления они долго горестно качали головами, припоминая этой каменной голове, что он хоть и был крещеный, но поэт.

— Я добьюсь аудиенции у царя, — провозгласил "брат Пушкин", и старый мудака Иосиф испугался и за него, и за себя. Но слово было, и его слышали.

— Слабо тебе... — ухнула голова, и потрясенные литераторы бросились ей на помощь. Они стягивали к ней разбросанные тут и там части великого тела, осознавая все величие этого момента. У всех на глазах происходило слияние и взаимопроникновение двух культур; и когда тело было сделано, то только большой булыжник не вписался в его структуру. И то ли это был камень в чужой огород, или в фундамент общего дела, но было ясно, что ретивые литераторы не пощадили ни живота своего, ни подручных материалов на великого сына Дюссельдорфа.

— Ну что, брат Пушкин, — сказал великий сын, вставая во весь рост. — Слабо?

— Тяжка ты, поступь командора, — захрипел Иосиф. — Идем.

— Куда? — загудели литераторы.

— Вперед! — заключил он, воплотившись опять в "брата Пушкина".

...На главной площади города колыхалась толпа. В центре ее возвышалась фигура отца Дюссельдорфа на коне.

— Янчик! — дергал за ногу короля великий Гейне. — Слушай сюда!

— Алё! Мы здесь! — присоединялись к нему остальные. И впрямь. Они были уже здесь и давно. Из Москвы и Ленинграда, Киева и Одессы и даже из Харькова. Все они пришли постоять за солнце русской поэзии и сказать, наконец, свое слово. Шел дождь. Солнце стояло внизу у пьедестала в длинном и намокшем пальто. До немцев, проходивших мимо, оттуда, из центра площади, доносилось, как кто-то качал свои права:

— Мой дядя — самых честных правил...

— Пока сердца для чести живы...

— Я памятник себе воздвиг...

— Врешь! Не тебе! — послышалось сверху. Это Ян Веллем смотрел оттуда свысока на копошившихся внизу.

— Кто это? — спросил у собравшихся вышедший к ним из ратуши бургомистр.

— Это наше всё...

— Все, что у нас осталось...

— Солнце наше...

— Пушкин! — раздавалось со всех сторон.

— А Пушкин — еврейский поэт? — удивился бургомистр.

— Великий, великий, — подтвердили собравшиеся евреи.

— Ну, тогда слазь! — глядя наверх, распорядился отец города.

— Давай, давай! — зашумели все.

— Янчик! — присоединился к ним Гейне.

Раздался громкий скрежет, и отец города Ян Веллем, досадливо взмахнув рукой, спрыгнул с лошади. Земля содрогнулась. И тут же под громкие приветственные крики десятки рук подхватили "брата Пушкина" и вознесли вгору.

Иосиф сидел на коне и озирался вокруг. На память пришли слова уже из другой оперы, и он не удержался:

— Я волком бы выгрыз бюрократизм!

Собравшиеся было опешили, но потом полностью согласились с выступавшим — куда нашим доморощенным бюрократам до здешних зубров, а кто-то в тон ему продолжил:

— Кончилось ваше время!

Растроганный бургомистр жал руки собравшихся евреев и повторял:

— Пока так... Все, чем могу...

И тут, почувствовав предательскую дрожь в голосе бургомистра, его слабину, задал ему самый смелый литератор вопрос, которым раньше там определяли принадлежность к посвященному кругу, к своим:

— Любите или вы Брамса?

— Или кого? — переспросил предводитель, но наши евреи услышали только первое слово и остались довольны. И тогда второй литератор патетически воскликнул:

— Ах, любите ли вы Дюссельдорф так, как я! — и заплакал.

Тогда заглянул бургомистр в печальные глаза собравшихся и понял, что им плохо... без их помидоров... без их нерушимых республик свободных... без их великого и могучего... И тут же распорядился переименовать площадь перед ратушей в Пушкинскую. А Иосифа оставили сидеть на коне и даже назначили ему "базис" — зарплату в 630 марок, от которых ему перепало 220 из-за козней "социала".

Шли дни. По утрам Иосиф заглядывал в готические окна зала заседаний и изредка качал головой. Это повергало в шок собравшихся, и они начинали усиленно размышлять над судьбой этого кочевого племени и чем их еще больше привязать. Сходились только в одном, что делать это надо крепче. По вечерам приходила жена Иосифа и тоже укоризненно качала головой. О какой уборке, мытье окон и Terrich'a, размене квартиры и континента могла идти речь, когда он восседал на коне, когда его именем назвали эту площадь.

— Иосиф... — засылала она ему наверх призывы. — Спустись на землю. Не витай в облаках. Ты выглядишь смешно. Какой из еврея всадник?

— А Бабель? — не задумываясь, отвечивал "брат Пушкин" с высоты своего положения.

Шли дни. Работа в магистрате совсем не клеилась. За окном зала заседаний целыми днями базарили Гарри, Янчик и "брат Пушкин", выясняя между собой, кто из них сделал больше для родного города. Все так же укоризненно качал головой поэт-всадник, отмечая во всеуслышание, что опять те в ратуше не выделили ни пфеннига на русские культурные центры.

Но чтобы быть поближе к тексту, иногда в ратуше распахивалось окно и оттуда раздавалось:

— Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

По этой части наш "брат Пушкин" был не в курсе, но было приятно внимание, и такая жизнь ему нравилась. Осмелев, он чуть было не поведал тем, "какой странный с ним случай приключился, в дороге совершен-

но издержался", но почему-то припелл каких-то курьеров... 35 тысяч одних контингент-флохтлингов.

Но дни шли, и приближался карнавал. Уже были приготовлены в разных концах города штабеля заграждений, вывешены плакаты. Город жил только этим днем.

Приготовления эти дошли и до нашего Иосифа, совершенно сросшегося уже с королевским конем. Рядом с ним бомжевали бывший король Ян Веллем и Гаррик Гейне. Завернувшись в куски целлофана и ворох газет, уже который день пылко обсуждали они свое участие в этом волнующем меропрятии.

— Мне без коня — никуда... — со слезами в глазах втолковывал им бывший король. Гаррик с недоумением взирал на свою новую часть тела в виде бульжника в руках, на котором кто-то из этих "русских" уже вывел — "оружие пролетариата".

Иосиф же коня покидать не собирался, решив до конца представлять великую русскую поэзию на марше. За плечами его были ее золотой и серебряные века, за ним были местные литераторы, они же евреи и русские, аки Бог-сын и Бог-отец в одном лице. Он должен был вести их и опекать. И был вечер накануне карнавала. Под окнами ратуши тихо скулил об утерянном могуществе Янчик. На эту "могучую кучку" задумчиво взирал бургомистр:

— Да помириться вы... — втолковывал он им. — Чего не поделили?

— Коня... — нервно всхлипывал король. — Кто он такой? Кто его здесь знает?

— Ты свои антисемитские штучки брось! — вспылил Гаррик. — Говорят тебе — наш!

— У вас же еще один великий есть, — вставил бургомистр, у которого вдруг созрел план. — Самый великий.

— Чем я? — обиделся "брат Пушкин".

— Христос! — выпалил отец города.

— Кто? — опешило солнце русской поэзии.

— Да, да! Да, да! На кресте! — ликовал бургомистр, представив себе, как завтра впереди шествия будет передвигаться этот величественный крест... Он не успел дорисовать перед глазами троицы эту величественную картину, как со спины коня раздался вдруг страстный вопль:

— Я! Это я! — кричал Иосиф.

Солнце русской поэзии померкло, и вокруг головы Иосифа среди ночи сиял нимб:

— Вы же знаете! Мы там свои! Там тоже бывший наш народ! Если что нужно! Мы поможем! Можем режим наибольшего благоприятствования...

— Так вы согласны, если мы вас немножечко распнем? — с опаской начал бургомистр.

— Валяйте! Это будет здорово! Я готов немножечко пострадать для вас и моего народа... — ответил Иосиф. — Только чтоб я был в белоснежной тоге, сандалиях с крылышками, среди коринфских колонн и столбов света.

— Abgemacht! — подвел черту отец города.

\* \* \*

...Когда на следующий день среди истомленной долгим ожиданием многотысячной толпы раздались, наконец, приветственные крики, то все головы враз повернулись в ту сторону, откуда появилось это непонятное сооружение, которое росло и приняло очертания гигантского креста, подпираемого белоснежными колоннами. Шел обязательный в таких случаях дождь. Иосиф картинно вырисовывался на фоне креста в мокрой тоге, облепившей его тело. Он плыл над морем голов. У подножья креста грозно вышагивал бургомистр в плаще Понтия Пилата с кровавым подбоем. Тут же рядом беспечно горевали два разбойника — Ян Веллем и Гарри.

А Иосиф сеял сверху разумное, доброе, вечное в виде конфет и жвачек. Внизу копошились дети, подбирая дары, вдаль уходило море голов, и все это плыло, колыхалось перед ним и обдавало волнами жара. Шел холодный упорный дождь, и понял Иосиф, что он заболевает.

— Мне плохо, — застонал он. Да, сказались эти ночные бдения на коне, эти игры комнатных мужчин во взрослую самостоятельную жизнь, этот вечный дождь, который вколачивает каждую частицу твоего вольного тела к этому добровольному кресту эмиграции.

— Что с тобой, Иосиф? — заподозрив неладное и не услышав себя в грохоте карнавала, закричала жена Иосифа.

Все это время она шла рядом с платформой и не отрывала взгляда от своего дурака. "Опять в очередной раз куда-то занесло, — досадовала она. — Спустись, в конце концов, на землю. Опомнись! Что ты мечешься? Шестьдесят лет уже, дураку, стукнуло...".

Но его, как всегда, несло. Возносило над этой платформой, над этим морем голов.

— Иисус! Иисус! — кричали внизу дети, женщины в ярких карнавальных нарядах, пираты, мушкетеры, турки-разбойники, японцы — цветы жизни, негры — горечь жизни и евреи — вечные евреи.

А Иисус все швырял в эту ненасытную толпу дары даже тогда, когда они кончились.

— Всё, всё, возьмите всё, мне уже ничего не надо, — выкрикивал он в бреду. — Вот вам мои закаты и восходы, вот вам моя любовь на первом курсе, моя библиотека, что осталась там.

Он швырял туда, отдавая свое последнее, и слезы утраты текли по его мокрым щекам. Впрочем, был дождь.

— Вот вам наша рыба, вот вам наши помидоры, — шевелил он губами. — Зачем они мне здесь? — и жена читала это по его губам и повторяла за ним:

— Вот вам наш чернозем, что в метр глубиной, вот вам наша собака, что осталась там, вот вам наша жизнь...

"Все, — подумал он. — У меня уже ничего не осталось. Я пустой. Я никому ничего не должен".

И тут она увидела, как туфли его начали отделяться от пола. Да, да... Начали. Она отлично знала эти его состояния, когда он куда-то уплывал от нее, от всего, от мира. Тогда она всегда приходила ему на помощь.

А Иосиф судорожно хватался за перекладину, за воздух. Ноги его колыхались где-то вместе с ним.

— Иисус! — ревела толпа.

— Иисус! — закричала жена его и, вскарабкавшись на платформу, обхватила обеими руками непокорные ноги.

"Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа", — улетали ввысь бессмертные строчки вместе с ним.

— Возносится! — закричал бургомистр.

Он метался между двумя разбойниками и лихорадочно повторял:

— Надо что-то делать... Надо что-то делать... Что скажет "Голос Америки"?

— А "Немецкая волна"? — спросил Ян Веллем.

— А "Би-би-си"? — добавил Гарри.

— Помогите! — не справляясь с непокорным, как всегда, телом и перекрывая многотысячный рев, вопила жена.

— Сейчас, — бросился к ней бургомистр и повис на уходящем теле.

— Сейчас! — засуетился Ян Веллем, доставая из своих хозяйственных штангин поковы, гвозди и прочую мелочь.

— Давай! — закричал он Гарри, протягивая ему гвозди.

— Бей! — король уже стоял у креста и уже держал одну руку.

— Я не могу! — в ужасе отшатнулся поэт.

— Спасите! — кричала жена.

— Уходит! — сползал вниз бургомистр.

— Давай! — кричал король, приставив гвоздь к ладони Иисуса. — Бей!

И был булыжник в одной руке, и был уже поэт Гейне у креста, и был этот взмах руки. Гвоздь как по маслу вошел в плоть и древо. Иисус охнул и закатил глаза. Со вторым гвоздем проблем уже не было. Кровь текла по рукам Иисуса и тут же смывалась дождем. Внизу плакала жена и шептала его ногам:

— Слава богу... ты со мной... Ну, что ты витаешь где-то, спустишься на грешную землю...

И тут бургомистра вдруг осенило: "Вот оно что... А ведь Иисуса прибили гвоздями, чтобы он не сильно возносился, как у них там... "главою непокорной".

Он смотрел на этих людей, окруживших со всех сторон платформу, в эти скорбящие, грустные еврейские глаза и говорил:

— Не бойтесь... Все будет хорошо... Мы вам поможем.

Ян Веллем ползал по платформе, подбирая рассыпавшиеся гвозди.

